
Л. А. МОСИОНЖНИК

КТО ВЫ, ГОСПОДИН НАРОД?

Понятие «народ», широко используемое в политическом лексиконе, многозначно, причем смешение различных его вариантов служит инструментом демагогии. Это слово может обозначать этнос (в этнографическом смысле), политическую нацию, только низшие или, напротив, только полноправные слои этой нации, приверженцев определенной идеологии и даже любую значительную группу людей, неважно чем объединенную. Многозначность присуща понятию «народ» исходно, она заметна уже в латинском языке.

Нация в современном смысле возникает лишь в Новое время. Для обоснования ее ценности и притязаний используются исторические мифы прежней аристократии. Однако эти мифы доказывали не национальное единство в нынешнем понимании, а, напротив, привилегии одной части населения по отношению к остальным. Приспособление таких мифов к потребностям Нового времени не могло происходить без натяжек, которые мы и видим в любом варианте национальной мифологии.

Варианты, впрочем, чрезвычайно схожи между собой, поскольку строятся по единым шаблонам. Полностью избавиться от национальной мифологии невозможно, но она должна быть введена в более тесные рамки и стать частью более широкой идеологической конструкции, в которой нуждается нынешний век. Впрочем, автор не берет на себя смелость указывать, в чем именно будет состоять эта новая идеология.

Ключевые слова: народ, нация, многозначные термины, мифологическое сознание, ценностные системы.

Погляди же, ведь мог бы ты быть богачом!
Все могли бы вы быть богачами,
Если б эти молодчики «я за народ»
Не дурачили вас, как попало.

Аристофан. Осы

Наше время – время националистических мифов, причем можно говорить не об их возрождении, а скорее о реанимации. Определение 1848 года как «первой пролетарской революции» уже забылось, но в Восточной Европе за событиями того года закрепился другой ярлык – «Весна народов». Сейчас же мы стали свидетелями «осени» – а может быть, «бабьего лета народов». Идеи, которые Европа оплатила двумя мировыми войнами, массовыми депортаци-

ями и масштабным геноцидом, заклеенные Нюрнбергским судом и Декларацией ООН о правах человека, вновь в ходу – но уже за пределами Старого континента. Высказывания, которые в ЕС или США считались бы абсолютно нетолерантными, в устах политика из Восточной Европы или Азии воспринимаются как совершенно допустимые.

Анатомии этих идей автор посвятил книгу «Технология исторического мифа» (Мосионжник 2012). Здесь же хотелось бы коснуться только одной стороны вопроса. Что это за народ, от имени которого сегодня действуют политики всех цветов спектра, от крайне левых до крайне правых? Что вообще значит это слово?

Для начала рассмотрим обычное словоупотребление. В одной версии народ – это люди, говорящие на одном языке. Это даже главное основание для этнографических классификаций – по общности языка и по сходству языков. Другая версия: люди, у которых есть паспорт одной и той же страны. «Сегодня наш народ идет к избирательным урнам». В американских анкетах графа *Nationality* означает гражданство. Третья версия основана на том, что у любого народа есть и мифы об общем происхождении. Летописец Григоре Уреке (XVII век) писал о молдаванах: «Noi de la Rîm tragem» (мы от Рима ведем род), – эта фраза переходит из одного учебника в другой. Таковы же утверждения: мы – потомки галлов, славян или Авраама¹.

Четвертую версию выдвинули революционеры: «Французский народ восстал против короля и аристократов». А разве король и аристократы были иностранными подданными, не говорящими по-французски? Здесь народ – явно низшие классы, которые в любом обществе составляют громадное большинство.

Еще раньше бытовала пятая (по нашей условной классификации) версия. До того как «французский народ восстал» и т. д., под тем же словом понималось нечто прямо противоположное: полноправный слой населения, участвующий в политике. «Сенат и народ римский» – официальное название Римского государства. Но еще Плиний Старший подсчитал, что на каждого римлянина в его время приходилось 15 неримлян. Первый российский и первый молдавский академик Д. Кантемир (в 1714 году он был избран в Берлинскую академию наук), разделявший мнение Г. Уреке о происхождении молдаван, упоминает о том, как первый господарь Драгош назвал место своей легендарной охоты Романом «по имени

¹ Кстати, в наши дни эта идея дает странные преломления. Не так давно мы имели дело с анкетой, в которой автор в графе «Отчество» указал: «Болгария». Отчества в русском смысле болгары почти не употребляют, и автор решил, что речь идет об отечестве.

своего народа» (*suae gentis nomen Roman indidit*, см.: Кантемир 1973: 5; 2011: 36). И сообщает о спутниках Драгоша, что «именно они заселили молдавскую землю, опустошенную татарскими нашествиями, новыми колонистами из крестьян, пригнанных из Польши» (*rusticorum e Polonia abactorum coloniis inseuisse*, см.: Кантемир 1973: 141; 2011: 130). Иными словами, молдавское боярство, по Кантемиру, происходит от римлян, как утверждал еще Уреке, а также, о чем бывший господарь повествует далее, от переселившихся в Молдавию потомков сербских, болгарских, татарских (как и сам Кантемир) и фанариотских знатных родов. Но «крестьян, пригнанных из Польши» (с Украины, в то время польской), историк упоминает лишь мимоходом: это не население, а деталь обстановки. Итак, народ как полноправное сословие – граждане или бояре.

Шестую версию использовали вожди народа – «демагоги»², – которые нуждались хоть в каком-то рабочем определении. И рассуждать они должны были примерно так. Раз мы выражаем интересы народа (сами мы в этом не сомневаемся!), значит, народ – это те, кто идет за нами, то есть признает, что их интересы именно таковы, как мы это понимаем. Те, в ком есть народный дух (*Volksgeist*), сформулированный немецкими романтиками. Все остальные, прежде всего живущие в той же стране и говорящие на том же языке, – «враги народа». Слово это впервые прозвучало во французском Конвенте в годы революции, и использовал его такой отнюдь не революционный автор, как Р. Вагнер: «Народ – это совокупность всех, связанных общей нуждой... Только такая нужда является источником истинных потребностей; только всеобщая потребность является истинной потребностью», в отличие от «врагов народа», потребности которых иллюзорны и представляют собой излишество и «роскошь» за чужой счет (Вагнер 1978: 148, 149). Стало быть, народ есть идеологическая общность.

Отсюда и седьмая версия, поскольку тем же словом можно обозначить любую группу «своих», как бы мала она ни была: «Ну, где же ты, народ ждет!»

Наконец, восьмая версия, самая «обиходная», относящаяся к любой случайно собравшейся группе или толпе: «Народу в троллейбусе – тьма!» Вероятно, можно и продолжать, но уже ясно: слово «народ» настолько многозначно, что может выражать почти все

² Буквальное значение этого слова – «учитель народа» (ср.: педагог), а также «народный вождь, государственный деятель, правитель». Еще Лисий на рубеже IV–III веков до н. э. писал о «благородных демагогах», а Исократ обозначал этим словом Перикла. Но уже у Аристофана и Аристотеля оно получает и современное значение (см.: Дворецкий 1958: 358).

или вообще ничего. Потому-то этнографы сейчас предпочитают говорить об «этносе», а политологи – о «политической нации», чтобы избежать смешения понятий.

Любопытно, что уже в классической латыни существовала такая же путаница. Заглянем в фундаментальный латинско-русский словарь И. Х. Дворецкого (слова в нем подобраны только из античных текстов, средневековая латынь остается за его рамками). Так, в Риме до Сервия Туллия слово *populus* обозначало только патрициев, позже, напротив, только плебеев. У Цицерона упоминаются «римский народ и плебс» (*populus plebesque*), у Марциала же – «народ и отцы», т. е. знать (*populus patresque*). В том же списке встречаются: государство (у Тацита «доверие к народу» означает государственный кредит), масса, толпа, население. Кроме того, *populus* обозначает также улицу (у Овидия на него выходят окна дома), область (у Тита Ливия), рой пчел (у Колумеллы) и даже множество картин (у Плиния Старшего) и злодеяний (у Сидония Аполлинария). Последнее не удивительно, поскольку рядом мы находим глагол *populo* – расхищать, грабить, истреблять (Дворецкий 1976: 784).

Такая же пестрота и со словом *natio*. Производное от *nascor* (рождаюсь), оно обозначало происхождение, род, племя, а иногда и политическую нацию. Но в том же списке оказывается и любая социальная группа и даже философская школа: Цицерон говорит о «нации оптиматов» (аристократической партии) и «нации эпикурейцев», а также порода (лошадей – у Варрона) и даже сорт изделий (Там же: 662). Так кто же вы, в конце концов, господин *Populus* и госпожа *Natio*?

Все существующие варианты ответа на этот вопрос в этнологии сводятся к трем основным.

1. Примордиализм: народ (этнос) – первичная реальность, явление первого порядка (по-латыни – *primi ordinis*, отсюда и название), лежащее в основе всех остальных. Откройте любой националистический учебник истории: из него вы узнаете, что «наш народ» («наш» – это смотря кем и в какой стране издано) происходит чуть ли не от своей особой обезьяны, лучшей, чем у всех прочих.

2. Инструментализм: этнос существует объективно, но это лишь инструмент для решения более важных (например, социальных) проблем. При таком подходе признается, что народ хотя и реален, но не вечен и что одни народы происходят от других.

3. Конструктивизм: этнос – это «воображаемое сообщество», искусственный конструкт, который при определенных условиях любая инициативная группа может создать по собственной мерке.

Последний взгляд разделял Б. Андерсон: его знаменитая книга так и называется – «Воображаемые сообщества». Здесь не место ее пересказывать, но некоторые моменты напомнить все же стоит. По Андерсону, нации появляются лишь в эпоху Реформации и Нового времени – в этом он согласен с академиком Ю. В. Бромлеем. Но, по Бромлею, буржуазная нация отличается от феодальной народности тем, что составляет единый экономический организм. Отчего же тогда «советский народ» так и не стал единой нацией, хотя экономика СССР была единой?

Андерсон указывает на другой основной фактор – «печатный капитализм». Означает это следующее. Появление книгопечатания резко расширило доступность книги, ставшей из предмета роскоши массовым товаром. Соответственно, резко возросли и престиж грамотности, и число грамотных людей. Но типографии с самого начала были коммерческими предприятиями, основанными на наемном труде наборщиков, корректоров, агентов сбыта (и очень часто – авторов). Чтобы такое предприятие окупалось, ему необходим рынок, притом расширяющийся. Латинский рынок быстро переполнился, поскольку на латыни читали немногие. Естественно, типографии начали осваивать рынок разговорных языков – поначалу популярными изданиями.

Это привело к последствиям, уже не зависящим от желания издателей-капиталистов. Разговорные языки тоже были доступны не всем: они ограничивались территорией своего распространения, а в ее рамках – диалектным разнообразием. Второе обстоятельство снималось выработкой *печатного* (даже не письменного) литературного языка, подминающего под себя диалекты. И если диалекты тоже претендовали на ранг языков, то их судьба зависела от того, успели ли на них возникнуть собственное книгопечатание. Первое же обстоятельство вело к тому, что в разных частях Европы (еще не воспринимавшихся как страны) складывались отграниченные друг от друга группы читающей публики. Членов этих групп связывал общий круг чтения (книг и газет, выпускаемых на одном и том же печатном языке, даже если между собой эти издания спорили), а также то, что о большинстве собратьев по группе они узнавали только из тех же книг и газет. (Резкое отличие составляло рыцарство феодальных времен, все члены которого по определенным случаям – например, на весенних военных смотрах – могли встречаться между собой лично.) Эти-то читающие группы и стали ядром языковых наций. Для тогдашней Европы это было ново: до появления книгопечатания на разговорных языках вопрос о различии этих языков не считался существенным. Этим, кстати, объясняется

то, почему пропагандистами националистических идей (вплоть до самых людоедских) стали именно интеллигенты – хоть и носители высших принципов, но все же люди, чья творческая жизнь зависит именно от печатного слова. Это было не массовое помешательство, а прямой интерес, в том числе (но не только) даже и материальный. В конце концов, любой автор трудится прежде всего для читателей – но его читателем может стать лишь тот, кто способен читать на том же языке, на котором написана книга.

Не случайно, как подчеркивает автор, изобретение книгопечатания не имело подобных последствий в Китае: «...оно не оказало <...> никакого существенного, пусть даже просто революционного влияния – и именно из-за отсутствия там капитализма» (Андерсон 2001: 240, сн. 21). Думается, дело все же не в этом: в средневековом Китае типографии тоже были частными предприятиями. На мой взгляд, существеннее характер письменности: в иероглифической записи различия между диалектами незаметны, поэтому книгу, изданную в любой провинции, можно читать на другом конце Китая без перевода. Вряд ли случайно, что в соседних с Китаем странах националистические движения стремились прежде всего отказаться от иероглифов (под благовидным предлогом упрощения письменности).

Капиталистическая организация печати стала лишь пусковым механизмом национализма. Сам Б. Андерсон, явно симпатизировавший марксизму, начинает свою книгу с описания шока, который вызвала у него китайско-вьетнамская война 1979 года: оказывается, и социалистические страны способны воевать между собой! (Многие граждане СССР испытали от этих событий те же чувства.) Оказывается, ликвидация частных капиталистических интересов не устраняет национализма сама по себе! Этот-то шок и подвигнул автора на написание книги.

Итак, в Европе границы между читающими группами пролегли по лингвистическим рубежам, что и привело к появлению языкового национализма: пределы нации – это пределы распространения национального языка. В конце XVIII века И. Г. Гердер определил немцев как «языковую нацию»: язык и общий круг чтения – единственное, что связывает немцев поверх государственных границ и таможенных барьеров. Имелся в виду именно печатный язык: разговорные диалекты в Германии делятся на три большие группы, и эти диалекты до сих пор затрудняют общение, например, между баварцами и голштинцами.

В Западном полушарии сложился иной тип национализма – по Андерсону, «креольский». Здесь не было языковых барьеров между

элитами, допустим, Чили и Мексики. Их место занимали искусственно возведенные метрополией границы между колониями. Не хуже языка они очерчивали пределы «паломничества» (так Б. Андерсон называет маршруты интеллигенции в поисках образования, а затем и карьеры) – пределы, в которых складывающиеся образованные группы видели поле своей деятельности.

Наконец, третий вид национализма – имперский (по Андерсону, «официальный») – возник как реакция на первые два типа, как попытка старых династических государств уцепиться за хвост событий. Его теоретической основой Андерсон считает «триединую формулу» графа С. С. Уварова: «Православие, Самодержавие, Народность» – хотя ошибочно понимает народность по Уварову именно как национальность. При этом автор нередко подчеркивает особенность России: ее территория была компактной, а населявшие ее народы и раньше (до вхождения в состав империи) привыкли иметь дело между собой. Поэтому между ними не было такой пропасти, как, например, между англичанами и индийцами. Традиционная элита подчиненных народов здесь не замыкалась в рамках колоний, а вовлекалась в имперскую элиту. Потомок мурзы Едигея князь С. Д. Урусов на посту бессарабского губернатора, бессарабский армянин И. Д. Делянов или бессарабский грек Л. А. Кассо на посту министра народного просвещения, молдаванин П. Н. Крупенский в роли «церемониймейстера Думы», грузин П. И. Багратион в качестве командующего армией, немец барон П. Х. Граббе в роли атамана Войска Донского – для России в этом не было ничего непривычного. Хотя двор говорил по-французски и по-немецки, языком делопроизводства был русский, но допускались исключения (Остзейский край, Бессарабия в период автономии). Даже националистические организации были многонациональными: по данным губернского адрес-календаря за 1913 год, в Бессарабии местное руководство Союза русского народа включало меньше половины русских фамилий (Топиро 1913: 196). В итоге сложилась система, которую Б. Андерсон (без четкого определения) называет «русификацией» даже в отношении стран Юго-Восточной Азии, никогда не входивших в имперскую орбиту России (например, в отношении Таиланда). По-видимому, у него это означает, что нация совпадает с государством, но не с этносом, хотя один из этнических языков и играет роль национального.

Однако вернемся в Европу с ее господствующим типом национализма – языковым. И здесь под «нацией» и «национальной территорией» понимались пределы той сцены, на которой рассчитывает действовать определенная образованная группа. Группа эта свя-

зана общим кругом чтения, а стало быть – общими проблемами, которые в этом круге поднимаются. То, что и здесь авторы спорят между собой, – не столь важно. Главное, что спорят они об одном и том же: «как нам обустроить» ту территорию, которую судьба дала нам в работу. Об остальных (непросвещенных) жителях этот круг говорит лишь «как об объекте тех или других более или менее разумных мероприятий, как о материале, подлежащем направлению на тот или иной путь» (Ленин 1967: 540)³, но полностью обойтись без них не может: генералам нужна армия. Стало быть, нужно убедить и этот «материал», обратившись к нему на понятном для него языке. А это – язык мифов, т. е. язык, выражающий не факты, а ценности, и не в определениях, а в образах.

Такие мифы давно уже созданы, и опираются они на ценности, которым М. Оссовская (1987) посвятила обстоятельное исследование «Рыцарский этос и его разновидности». Эти ценности исходят из того, что все описанные Оссовской группы (от героев Гомера до средневековых рыцарей и английских джентльменов, список можно расширить) – это либо военное сословие, либо его наследники. Отсюда и внимание к внешнему виду, и презрение к материальному интересу, и культ самодостаточности (рыцарь должен уметь все – но лишь в пределах, необходимых в полевых условиях), и требование (вполне по Бусидо) «не утруждать своего ума»: мышление – процесс медленный, для него нужно время, которого в бою обычно нет. Но прежде всего – благородное происхождение: моральные качества считались наследственными вплоть до XX века, когда такое наивное представление было опровергнуто генетикой. Уже в древности считалось, что уважение, которого заслуживает народ, зависит от давности его письменной истории. Поэтому, например, во времена Иосифа Флавия антисемиты утверждали, будто евреи существуют лишь со времен Александра Македонского (когда они впервые попали в поле зрения греческих авторов), а стало быть, стоят ниже греков. И Иосиф Флавий спорил с ними, ссылаясь на Ветхий Завет, но не оспаривал саму постановку вопроса (Филон Александрийский 1994). Тот же ход мысли заставлял Вергилия (а уже по его примеру – Ненния и Гальфрида Монмутского) описывать троянское происхождение римлян (и бриттов), а Иордана – утверждать тождество готов и гетов. По той же причине в наши дни национализм стремится искусственно удревнить исто-

³ Цитируется ранняя работа В. И. Ленина, в которой он упрекает русских народников в «бюрократическом мышлении». Не будем напоминать о силах, толкнувших на тот же путь и самих большевиков после 1917 и особенно 1920 года: это другая тема.

рию своего народа (каждый – своего), доказать, что «мы» были всегда. Только теперь эти голословные утверждения драпируются под выводы науки, авторитет которой и сегодня очень высок. Чем еще объяснить, что мистики и маги выдают свои взгляды за альтернативную форму науки, зато ученые не рядятся под магов?

Однако попытка «научно» обосновать аристократизм сыграла со своими теоретиками очередную злую шутку. Мифы, которыми они пытались пользоваться, в свое время были созданы для другой цели: обоснования особых прав не данного этноса по отношению к остальному миру, а аристократии по отношению к податным условиям *своей* страны.

Таков, например, миф о поляках как потомках сарматов, а о венграх и литовцах – соответственно скифов и римлян. Анализируя эти мифы, исследователь из Института славистики Польской академии наук Л. Хензель замечает: «Рождение этих мифов связано с созданием концепта нации. Однако при этом не следует забывать, что в то время нация состояла из единственной социальной группы – дворянства. Оно руководило страной и решительно запрещало проникновение членов других социальных групп в свою касту. Занимая все более и более важную позицию в международных отношениях, новые общества нуждались, в ущерб старым, в конструировании собственной истории, которая через множество знаков и символов возводила бы их к уникальному прошлому, узаконивающему их существование» (Hensel 2003: 47).

Поэтому литовские магнаты – например, Пацы и Сапегы – возводили свой род к римским корням, но доказать такое же происхождение своих крестьян они и не пытались – зачем?! Но такой же ход не был закрыт и для польских магнатов, охотно роднившихся со знатными семьями не только Литвы, но и романских стран. В итоге, по выражению Евы Кулицкой, «Речь Посполитая делилась на “римских” магнатов, с одной стороны, и “сарматскую” дворянскую массу – с другой» (*Ibid.*: 48). О славянах речь вообще не шла, поскольку простонародье (польское, литовское и восточнославянское) считалось попросту «домашней скотиной» (таков буквальный перевод слова *bydło*).

Павел I так комментировал рассказ о Потемкинских деревнях: «О, я это хорошо знаю! Вот почему мой собачий народ хочет быть управляемым только женщиной!» Ст. Расседин (1985: 187) указывает, что в устах царя слово «народ» означало только «дворянство». О крестьянах Павел I был иного мнения. К. Валишевский приводит письмо императора жене из Нерехты от 3 июня 1798 года с упоминанием «крестьян, которые, в скобках, бесконечно более

любезны, чем... тш! [Chût!] Этого не надо говорить, но надо уметь чувствовать» (цит. по: Эйдельман 1986: 114). Знал он и о своей популярности в низах – именно как первого мужчины после семидесяти лет почти непрерывного женского правления (Там же: 38), и о надеждах крестьян и казаков на своего отца Петра III, которого подчеркнуто чтит. По сведениям Л. Л. Беннигсена, Павел даже готовил себе – на случай разрыва с Екатериной – путь к бегству на Урал, в землю, где еще жили пугачевские традиции (Там же: 39). Как видим, ни казаки, ни крестьяне не входили для Павла I в понятие «мой собачий народ».

Такое понимание «народа» сводило его к нескольким сотням семейств, с трудом держащих круговую оборону как против внешнего мира, так и против собственных «мужиков». С этой точки зрения понятны страхи: «Россия погибнет», «Германии конец» и т. п.

Однако вспомним, что для слова «народ» мы обнаружили не менее восьми значений. Какой же из этих «народов» мог бы пользоваться старым *дворянским* мифом? Ведь этот миф создавался не для *сплочения* народа – в любом из перечисленных смыслов, – а, напротив, для его *разобщения* и оправдания особых прав только одной из его частей. Вправе ли, допустим, румынский националист повторять вслед за Уреке: «Мы от Рима ведем род», – пока не докажет, что среди его предков был хоть один боярин? А если даже и так – может ли он обращаться с подобным призывом к жителям страны, где давно уже исчезла собственная аристократия, «от Рима тянущаяся»? Но то же относится к нынешним «потомкам» викингов, сарматов, Авраама или древних русичей. Все современные народы имеют смешанное происхождение, и это закономерно. Противиться этому – все равно что пытаться закупорить реку в бутылке, лежащей в твоём кармане.

Аристократическое мировоззрение, пытаясь удержать свои позиции в новом мире, вынужденно идет на жертву – принимает под свою сень тех, от кого оно как раз и должно было создавать дистанцию: низы собственной нации. При этом лишь вначале такие идеи выдвигают аристократы, но их обычно подводит негибкость личной позиции, исключающая плодотворное сотрудничество. Затем их неизбежно сменяют парии, отбросы общества, претендующие на роль новой знати, не умеющие рассуждать, зато способные действовать – плохо, сумбурно, но все же хоть как-то. Дескать, пусть мы никто, зато именно в нас есть некая внутренняя сущность, некое совершенно особое духовное содержание, благодаря которому мы когда-нибудь сделаем что-нибудь великое! Правда, это содержание, «которое, согласно предположению, не проявляет-

ся ни в чем вовне, может при случае совершенно улечуться, а между тем снаружи отсутствие его совершенно не было бы заметно, как незаметно было раньше его присутствие» (Ницше 1998: 185). Но аристократическое мировоззрение возможно только для людей с рыцарским этосом, а откуда ему взяться у «человека толпы»? Поэтому «нового Средневековья» из такого человеческого материала не выйдет. Предел возможностей в этом смысле – краткий (10–20 лет) период безумной и кровавой оргии, а потом – тяжкое похмелье и отрезвление. Если, конечно, безумствующая толпа не успеет добраться до ядерного оружия или чего-нибудь похуже.

Соединить аристократические ценности с реальностью XX века нацизм пытался тем, что роль будущей аристократии отводилась всему «избранному» народу: «Расовая теория нацистов справедливо расценивается как идейная подготовка и обоснование ненависти и массовых убийств. Но для миллионов немцев она была привлекательна другой своей стороной – обещанием равенства внутри нации... Война ускорила демонтаж социальных перегородок. Большие потери командного состава заставили с октября 1942 г. открыть путь к офицерским должностям людям без законченного школьного образования... Согласно нюрнбергским законам 1935 г. новые браки между “арийцами” и евреями были запрещены, зато впервые в истории Германии офицер мог жениться на дочери рабочего, если не существовало, конечно, биологических противопоказаний. Итак, резюмирует Али⁴, посредством грабительской расовой войны неслыханных масштабов нацизм обеспечил немцам невиданную ранее степень благосостояния, социального равенства и вертикальной социальной мобильности» (Мадиевский 2006).

Это и делало привлекательным обращение к идеологии времен ранней государственности – «варварских королевств», где племя-победитель (например, остготы или лангобарды) считалось знатью *в целом*, противостоя покоренным народам – также *в целом*. Еще в XVII веке (о чем упоминает А.-Р. Лесаж на первой странице «Жиль Бласа») жители Астурии настаивали, что все они – сплошь дворяне, поскольку происходят от вестготов, удержавших после 718 года только эту часть Испании.

Однако в XX веке покрыть расходы по такой политике можно было только грабежом, поскольку для «экономического чуда» у нацистов не было ни средств, ни специалистов. Уже к 1937 году Германия оказалась на грани банкротства, выход из этого положе-

⁴ Немецкий историк Гец Али, рецензией на книгу которого и является цитируемая статья С. А. Мадиевского.

ния давало только разграбление еврейской собственности, а потом – захваченных стран. В результате вся государственная машина оказалась инструментом колоссального грабежа ради подкупа своего населения, причем инструментом, лишенным долгосрочной перспективы. Перерождение это было нетрудным, поскольку еще Августин Блаженный определил государство как «великую разбойничью организацию», и это определение до сих пор не опровергнуто, его разделяли такие разные мыслители, как К. Маркс, П. А. Кропоткин и М. Твен. Marionеточные власти оккупированных стран тоже получали долю выгоды – правда, как выяснялось позже, иллюзорную и временную. А политика террора вытекала из соображения, известного любой банде грабителей: убрать жертву, чтобы она не могла поднять шум. «Холокост, – заключает Али, – остается непонятым, если не анализируется как самое последовательное массовое убийство с целью грабежа в современной истории... Тот, кто не желает говорить о выгодах миллионов простых немцев, пусть молчит о национал-социализме и Холокосте» (Мадиевский 2006).

Поэтому идеология «аристократической нации» либо ведет к бесконечной войне (внешней или гражданской), либо оказывается беспредметной, не подкрепленной никакими реальными благами, а потому обреченной на скорый крах. Уже это (если не моральные соображения) должно свести на нет ее внешнюю романтическую привлекательность.

Несмотря на всю пестроту национальных лозунгов и знамен, шаблоны националистического мышления удивительно однообразны. Собственно, так и должно быть, раз уж мы говорим об объективном явлении, а не о плодах чьего-то воспаленного воображения. Ю. Слезкин находит основу такого шаблона в Ветхом Завете: каждый народ – избранный, каждая столица – Иерусалим, каждая земля – обетованная, каждый народ «изъязвлен за грехи свои», но может надеяться на собственного мессию (Слезкин 2005: 64–65). Однако ветхозаветный шаблон наложился на идеи классиков Просвещения – Ж.-Ж. Руссо и И. Г. Гердера. По Руссо, нация – это общность, связанная «общественным договором» (конституцией), а по Гердеру – языком. Правда, оба они не исключали, что любой чужак, принявший либо «общественный договор», либо язык, может вступить в такую общность.

Но любая идеологема не полностью соответствует реальным фактам, а стало быть, должна это несоответствие как-нибудь объяснять. Отсюда стереотипное оправдание того, почему народ (кроме узкого идеологического кружка) не подозревает о своих «под-

листных чаяниях»: оказывается, до сих пор он «спал», но теперь проснулся или вот-вот должен проснуться (Андерсон 2001: 211–213). Отсюда и трактовка древних междоусобиц (например, семнадцати походов молдавского господаря Штефана Великого против валахов) как войн между «своими». Самого Штефана такая оценка его действий, вероятно, чрезвычайно бы удивила.

Наконец, в ход пускается «редактирование смыслов» исторических событий: доказательства, что видные исторические фигуры действовали в национальном духе, даже если сами об этом не подозревали. Так, еще в XIX веке сложился миф о Михе Храбром как о «первом объединителе румынских земель»: в 1595 году он занял трон Валахии, в 1599 году захватил Трансильванию, а в 1600 году – Молдову. То, что это объединение просуществовало всего три месяца и даже не успело получить общее название, либо не подчеркивалось, либо объяснялось происками врагов. Как считает И.-А. Поп, «правление Михая положило начало переходу от инстинктивной к осознанной общерумынской солидарности, от средневековой народности к общеевропейской нации» (Поп и др. 2005: 306).

Однако уже в конце XIX века один из крупнейших историков тогдашней Румынии А. Д. Ксенопол обращал внимание на то, что самому Михею были чужды как интересы румын, так и мысли об их единстве. Это видно из того, что, завоевав Трансильванию, он подтвердил все прежние права помещиков (Voia 2006: 221). Следует учесть, что в 1437 году, после большого крестьянского восстания, был заключен «союз трех наций» – *Unio trium nationum* (sic!). По его условиям «политическими нациями» в Трансильвании объявлялись помещики-венгры, «саксы» (немецкие бюргеры семи крупнейших городов) и секеи – особая этнографическая группа, говорящая на венгерском диалекте. Крестьяне в этот союз не входили, а слово «румын» появляется в Трансильвании ближе к середине XVI века – как синоним слова «крепостной». Если Михай Храбрый не обратил внимания на это обстоятельство, как вообще можно видеть в нем *национального* деятеля?

Л. Бойя, румынский историк, подвергший всю национальную мифологию вдумчивому и тщательному анализу (каждая его книга производила в Румынии фурор), прослеживает, как идеология пыталась переварить этот неприятный факт. Так, Поп сочувственно цитирует слова Н. Йорги: впоследствии «ни один румын не мог задумываться об объединении страны, не вспомнив об этой великой личности, о поднятых во имя высшей справедливости мече и секире, о его чистом взгляде, исполненном совершенной трагической поэзии» (Поп и др. 2005: 302). Однако Бойя ссылается на дру-

гое замечание того же Йорги: молдавские крестьяне смотрели на свержение Михаем законной династии не как на национальное объединение, а как на иностранное вторжение (Voia 2006: 222). Похоже, продолжает он, что румынская историография, уже созрев, избежала ловушки – приписывать Средневековью стремление к национальному единству. Во-первых, нельзя было умолчать о бесконечных войнах между Молдовой и Валахией. Во-вторых, Трансильвания явно принадлежала «другой» истории. Яноша Хуньяди, например, так и не удалось сделать румынским национальным героем, хотя как личность он не ниже Штефана Великого. Лишь в 1937 году И. Лупаш нашел удобную формулу: да, национального самосознания еще не было, но были его предпосылки! Его линию продолжил Г. И. Брэтиану: хоть Михай Храбрый и не думал об объединении, но его «историческая миссия» высвободила силы, которые в дальнейшем к этому привели (*Ibid.*).

Однако разве это происходило в одной лишь Румынии? В СССР такой ход мысли был тоже известен, хотя и выражался иными словами: деятельность такого-то лица «объективно способствовала» историческому прогрессу. Восходит же этот прием еще к И. Канту и Г. В. Ф. Гегелю с их идеей о «хитрости разума»: хотя исторические законы и прокладывают себе путь через действия людей, но результат может получаться такой, какого ни один реальный деятель не предвидел. Как видим, аргумент такого рода не только не придуман советскими историками, но и может употребляться вообще без всякой связи с марксизмом: это другого поля ягода.

Теперь самое время ожидать морали: долой исторические мифы! Увы, этой морали не будет. И не только потому, что (по выражению Г. Гейне), пока Геракл очищает авгиевы конюшни от навоза отживших верований, навалившие его быки продолжают находиться в стойле. Дело сложнее: мы не только никогда не можем знать все, но и сами знания нужны нам лишь ради оценочных суждений – потому что без них мы не можем решить, что и как нам следует делать. А чистый разум неспособен к оценкам. Наука неспособна собственными силами, без помощи ненаучных форм мышления, различать добро и зло.

Л. Бойю в Румынии прозвали «демифологизатором», возникла даже целая школа с таким названием. Но сам он был категорически не согласен с подобным определением и в предисловии к третьему изданию своей книги писал: «Я никогда не предлагал отказ от мифов, предлагал лишь их историческую интерпретацию. Знаю, что без мифов жить нельзя, но и меня как историка не устраивает их существование без попытки объяснения» (*Ibid.*: 17–18). Ранее

тот же автор подчеркивал: непредвзятой истории не бывает, но и сам историк (не говоря уже о читателях) должен понимать, в чем именно состоит его предвзятость. Иначе он не удержится в сфере научности.

Да, человек ограничен в своих возможностях, поэтому и поле деятельности ему нужно меньшее, чем вся планета. Эту роль в наши дни и играют политические нации – сообщества людей, связанных общими проблемами. И неважно, кто их предки и на каком языке они говорят – лишь бы понимали друг друга и делали общее дело. Неважно, кем мы были, пока нас не было: важно, кто мы такие сегодня, кем хотим и еще можем стать. Но из этого вовсе не вытекает, что политическая нация – высшая ценность. А. П. Назаретян (2015: 357) подчеркивает: «Не может стать космически значимым разум, идентифицирующий себя как христианский, мусульманский, иудейский, буддийский или индуистский, как пролетарский или буржуазный, как русский, французский, китайский, американский или зимбабвийский. Такой разум неизбежно увязнет во внутренних разборках, погребя своего носителя под обломками неукротенной технологической мощи. Универсальность доступна только разуму в высокой степени индивидуальному, а потому космополитическому».

Поэтому не нужно видеть смысл истории в нациях, и уж тем более опираться при этом на мифы, созданные совсем в иную эпоху и совсем для других целей. История Европы в первой половине XX века уже показала, к чему это ведет. Националистическая идеология должна быть преодолена, а понятие нации – занять свое законное, но все же второстепенное место в иерархии других ценностей.

Литература

Андерсон, Б. 2001. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: КАНОН-Пресс-Ц; Кучково поле.

Вагнер, Р. 1978. *Избранные работы*. М.: Искусство.

Дворецкий, И. Х.

1958. *Древнегреческо-русский словарь*. Т. 1. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей.

1976. *Латинско-русский словарь*. 2-е изд. М.: Русский язык.

Филон Александрийский. *Против Флакка; О посольстве к Гаю; Иосиф Флавий. О древности еврейского народа; Против Апиона*. М.; Иерусалим: Еврейский ун-т в Москве (Библиотека Флавиана, вып. 3), 1994, с. 113–222.

Кантемир, Д.

1973. *Описание Молдавии*. Кишинев: Картя молдовеняскэ.

2011. *Описание Молдавии: Факсимиле, латинский текст и русский перевод Стурдзовского списка*. СПб.: Нестор-История.

Ленин, В. И. 1967. От какого наследства мы отказываемся. В: Ленин, В. И., *Полн. собр. соч.*: в 55 т. 5-е изд. Т. 2. 1895–1897. М.: ИПЛ, с. 505–550.

Мадиевский, С. А. 2006. «Народное государство» Гитлера. Götz Aly, Hitlers Volkstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt am Main, 2005, 444 p. URL: http://www.scepsis.ru/library/id_932.html (дата обращения: 17.01.2007).

Мосионжник, Л. А. 2012. *Технология исторического мифа*. СПб.: Нестор-История.

Назаретян, А. П. 2015. *Нелинейное будущее. Мегаистория, синергетика, культурная антропология и психология в глобальном прогнозировании*. 3-е изд. М.: Аргмак-Медиа.

Ницше, Ф. 1998. *Соч.*: в 2 т. М.: РИПОЛ классик.

Оссовская, М. 1987. *Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали*. М.: Прогресс.

Поп, И.-А., Болован, И. и др. (коорд.) 2005. *История Румынии*. М.: Весь мир.

Рассадин, Ст. 1985. *Сатиры смелый властелин*. М.: Книга.

Слезкин, Ю. 2005. *Эра Меркурия: Евреи в современном мире*. М.: НЛО.

Топиро, Б. А. (ред.) 1913. *Иллюстрированный адрес-календарь Бессарабской губернии на 1914 год*. Кишинев: Бессарабский губернский статистический комитет.

Эйдельман, Н. Я. 1986. *Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII – начало XIX столетия*. М.: Мысль.

Voia, L. 2006. *Istorie și mit în conștiința românească*. București: Humanitas.

Hensel, L. 2003. Mitul sarmat și mitul scit: o încercare de comparație. In Delsol, Ch., Maslowski, M., Nowicki, J., *Mituri și simboluri politice în Europa Centrală*. Chișinău: Cartier, pp. 46–55.